

Мои десятиые

Ободрившись успехом книги «Нулевые» (за неполные два года тираж почти разошелся), я предложил «Редакции Елены Шубиной» для издания сборник «Десятые», в который включил повести и рассказы, написанные в 2010-е и о 2010-х. То есть, как говорится, по горячим следам.

Такой метод писания далеко не всеми приветствуется, есть стойкое мнение, что материал должен отлежаться, что нужно осмыслить событие или даже случай из частной жизни. Но мне интереснее брать горячее, колющее настоящее и пытаться зафиксировать его на бумаге в виде прозы. Бывает, попытки заканчиваются удачно.

Вроде бы 2010-е были только что, но мы живем уже в новой эпохе, новой реальности. Конечно, ничто новое, иное не возникает на голом месте, оно подготавливается, вызревает, но все же есть некий рубеж, отделяющий один период истории от другого. Нередко таким рубежом становятся календарные смены десятилетий, веков.

Перечитывая написанные в 2011–2020 годах повести и рассказы, чтобы выбрать наиболее подходящие для

сборника, я часто удивлялся, как свободно мы жили. Пугающе свободно. Преодолели лихие девяностые (а для меня они действительно лихие — и злые, и удалые), кризисные в первой половине и тучные во второй нулевые, и вот вступили в десятые...

Справедливо утверждение, что политикой интересуются, в политику идут в основном люди более или менее обеспеченные, не вынужденные каждодневно добывать средства к существованию и ломать голову над тем, как прокормить себя и семью.

События в Москве и многих крупных городах в 2011–2012 годах тому яркое подтверждение. Люди, переставшие бороться за существование в нулевые, в начале десятых захотели перемен. Ощутили тоску и томление, а может, коллективное предчувствие страшного, которое нужно как-то отвести, предотвратить.

По-моему, не получилось. Попытка десятилетней давности напоминала скорее карнавал, чем революцию, и закончилась неудачей. Распахнутые настежь ворота свободы стали медленно, но неостановимо закрываться.

Я постарался обойтись в сборнике «Десятые» без политики, не включил в него многие вещи (например, повесть «Чего вы хотите?»), буквально пропитанные ею (как была пропитана и сама каждодневность очень многих людей), но тем не менее она, или, скажем так, общественная жизнь или пресловутая геополитика то и дело возникают и в «Зиме», и в «Помощи», в «Сугробе», в «У моря»...

И еще томление настоящим или предчувствие трагических событий — я сам не пойму, что изводит многих моих героев.

В отличие от повестей и рассказов девяностых, нулевых, в этих нет откровенных люмпенов, никто не голодает и не спивается, не кончает с собой, но, кажется, ге-

рои «Десятых» более трагичны, чем те. В девяностых и нулевых было проще — там часто были отчаяние и уныние, а здесь появилась изводящая тревога.

Сама реальность оказалась не такой прочной, как я думал. Она менялась и меняется слишком быстро. В рассказе «Зима», написанном в конце 2011 года, легко можно узнать Феодосию (что отметили с недоумением некоторые читатели), но приметы жизни российские, цены соответствуют скорее рублям, чем гривнам, о российском футболисте Аршавине герои говорят «наш».

Не знаю, почему я выбрал местом действия Феодосию. Вряд ли потому, что тогда знал ее лучше, скажем, Анапы. Прошло чуть больше двух лет, и эта фактическая неправда исчезла. По крайней мере — формально.

Сейчас и спор героев рассказа 2014 года «Помощь» о том, что такое Родина, где кончается Россия, где наша земля и наши люди, а где нет, тоже вряд ли возможен. Вернее, аргументы у спорящих появились новые, да и тональность изменилась.

Когда я писал рассказ «Косьба» (2015), меня волновало будущее главной героини Ольги, а с ее ухажером Виктором, совершившим страшное преступление, вроде как все было понятно: получит огромный срок заключения, может быть, доживет до освобождения, но наверняка больным и сломленным. Но с год назад судьба его вполне могла измениться. Он вступает в «Вагнер», гибнет в бою или выживает и освобождается лет на десять-двенадцать раньше срока.

У сюжетов многих моих вещей 2010-х появилось неожиданное продолжение.

Я не писал хронику десятилетия, никогда не задавался такой целью. В некоторых текстах и время действия не указано даже примерно. Впрочем, тот или иной случай из жизни, как мне кажется, мог произойти пример-

Роман Сенчин

но в тот год, какой я представлял, когда писал. Не позже, не раньше. История это лестница вверх или вниз, и каждый год — ступенька. А ступеньки чем-нибудь да отличаются; есть и такие, на которых обязательно оступишься, собьешь дыхание.

В этой книге десять ступенек. Десятилетие. Мои 2010-е.

2023

ДЕСЯТЫЕ

Проза недавнего времени

Зима

Почти каждый день я совершаю традиционный и традиционно бесплодный обход города. Что хочу найти, я и сам не понимаю, но хожу и хожу, и уже в сумерках, продрогший, злой, возвращаюсь к себе.

Наш дом называют Серой кривой пятиэтажкой. Есть еще Голубая кривая — ее панели покрыты голубоватой облицовочной крошкой. Нашу строили на несколько месяцев позже, и, видимо, на нее крошки не хватило — стены светло-серые. Наш дом сдали весной девяносто четвертого, с тех пор пятнадцать лет ничего в городе не строили, кроме разве что частных коттеджей, да и из них мало какие довели — в основном торчат до сих пор этакие руины-заброшки, поросшие травой и кустами: место для пацаньих игр.

Дом стоит удобно — по соседству супермаркет, через дорогу парк, до моря два квартала, минут десять неторопливым шагом. Квартира на четвертом этаже, двухкомнатная, комнаты отдельные, не проходные... Правда, родителям пожить здесь довелось недолго.

Отец, которому и давали квартиру (он двадцать лет проработал на прядильной фабрике), умер через год после переезда, а мать — через полтора. Рак обоих сожрал... От него многие в городе умирают, но об этом не принято распространяться — мы считаемся курортной зоной, летом здесь битком отдыхающих, а начни про рак трезвонить, наверняка перестанут ездить, и тогда нам всем быстрый и реальный каюк...

Родители умерли, и я остался единственным владельцем этих квадратных метров. Есть еще бабушкина хибара на Горе. Это далеко от моря, но Гора считается самым старым районом города. Там было одно из двух поселений, которые потом разрослись... Хибара ветхая и страшная, с мая по октябрь я в ней обитаю. Газ проведен, главное; на улице колонка с водой.

В этой хибаре мы с родителями жили до переезда в Серую кривую пятиэтажку. Получив ордер, звали и бабушку — «задавит тебя здесь потолком», но она отказалась: «Пускай лучше задавит, чем море смоеет». Я долго не верил, что она всерьез боится моря, да и не она одна, а большинство старух и стариков на Горе. Посмеивался над полулегендой, согласно которой с тысячу лет назад случился страшный шторм, а может, и цунами какое-нибудь, и поселение рыбаков смыло вместе со всеми жителями. А люди, жившие выше, — виноградари и пастухи — уцелели, но гибель соседей произвела на них такое сильное впечатление, что и через сотни поколений море продолжало казаться людям с Горы опасным и враждебным...

Бабушка в центре города — то есть в низине — почти не бывала; моя мама, ее дочь, тоже никогда не рвалась туда, и если отец, уроженец дальней степ-

ной области, тащил нас на пляж, выискивала разные причины, чтоб не пойти.

Да, эта боязнь моря до недавних пор была мне дика и смешна, но почему-то теперь я все чаще думаю о том, что это тупое накатывание волн и редкие, почти игрушечные, штормы должны в конце концов смениться серьезным. Взбунтоваться, встать на дыбы... Наверное, множество людей ожидают и ожидали нечто подобное, но я ожидаю с чем-то вроде радости. Как какого-то избавления. От чего? Я и сам не могу себе объяснить. Все вроде нормально. Свобода, куча времени, денег в сезон заработать можно столько, что хватит на жизнь в оставшиеся пять месяцев холодов... Только вот... Только вот пустота и тоска, такая тоска, что хочется, чтобы случилось что-нибудь, пусть страшное, губительное, но способное разбить пустоту и тоску.

Сейчас зима, февраль, и можно спать хоть круглые сутки. Но я просыпаюсь часов в пять. Долго пытаюсь забыться снова, устраиваюсь удобнее... Нет, подушка становится твердой, одеяло давит и душит. Во рту гниловатая сухость, глаза чешутся... Потом в голову начинают лезть мысли. Как провести этот день, чтобы не получился один в один как прошлый и позапрошлый, и недельной давности, месячной... Февраль как январь, как декабрь, ноябрь... На несколько минут фантазирование чего-нибудь необычного увлекает и одновременно усыпляет, но тут приходят воспоминания о родителях, я начинаю представлять, что чувствовала бабка, пережившая свою дочь на три года, как она мучилась в одиночестве (я тогда навещал ее редко); я пытаюсь представить себя через

десять лет, через двадцать. А в основном колют и царапают мысли, не оформленные во что-то конкретное, — просто заливают мозг неприятным, гадким, разъедающим. Кислотой тоски. Именно тоски. Самое правильное слово — тоска, хоть и заболтанное, обесцененное. Но, бывает, услышишь от кого-нибудь вздох: «Тоска-а», — и ледяной судорогой сводит грудь, и тянет зареветь, как в детстве, когда тебя несправедливо обидели. Взяли и просто так, ни с того ни с сего, для забавы или, хм, с тоски ущипнули, обозвали, ткнули...

Когда лежать уже невмочь, я сажусь на кровати, включаю телевизор, больше не для того, чтоб смотреть, а из-за мягкого света, который он излучает, и нахожу сигареты.

Курю, таращусь в экран, прочесываю дистанционной программы... Повторы вышедших из моды сериалов, черно-белые советские фильмы, клипы малопопулярных певцов... Смотреть нечего, да и вообще как-то нечего смотреть — в какое бы время ни включал телевизор, какую бы программу, всегда тянет переключить на другое или вообще щелкнуть красной кнопкой.

Но щелкну, и что останется? Неживая полутьма, тишина, рождающая мысли, от которых становится жутко. Пусть лучше это...

Давлю в пепельнице докуренную до фильтра сигарету, поднимаюсь.

Довольно тепло. Значит, на улице без ветра, — при ветре, как бы ни грели батареи, в квартире зябко. Правда, рамы я не клеиваю — лень возиться. Да и без толку — от этих ветров только стеклопакеты спасают...

Тащусь в туалет. Позевывая, покашливая от горькой слизи в горле, мочусь. Спускаю воду. Белый маленький счетчик над бачком закрутил свою крыльчатку, красный валик справа стал менять цифры, отсчитывая потраченные литры... Черт, опять забыл плеснуть в унитаз воды из ведра! Вот же оно, рядом, и пластмассовый ковшик плавает... Изю всех сил стараюсь экономить и постоянно срываюсь.

Но так как-то уютно, приятно становится, когда слышишь, как наполняется бачок, что-то там шипит и посвистывает...

Зажигаю на кухне колонку. Потом — плиту. Ставлю чайник... Электрочайники у нас не прижились — слишком много жрут электричества, а газ пока относительно дешевый. Да и вредны, говорят, эти электрочайники. Пластмасса. Пользуются ими в основном на работе...

Мысли, хоть и такие мелкие, ничтожные, как сейчас, разгоняют бесполезную, не перерастающую в сон дремоту; я двигаюсь быстрее, словно у меня впереди масса важных и срочных дел.

Пару раз обжегшись (отрегулировать воду невозможно), умываюсь, надеваю треники, стеганую рубашку. Делаю чашку кофе, пью перед телевизором. Мировые новости сегодня пресные, никаких катастроф. Фильмов интересных нет (кто их будет смотреть в половине шестого утра?), по MTV какое-то реалити-шоу вроде «Дома-2», — тоже молодняк делает вид, что пытается полюбить друг друга. То обнимаются, то матерятся и бесятся. Смотреть скучно... Сейчас я кажусь себе, в свои тридцать шесть, всё знающим, всё испытанным стариком. Хотя что я знаю, что испытал?.. Нескольких секунд поисков в своем прошлом

хватает, чтобы меня скрутил новый приступ тоски. Ведь ничего, совершенно ничего особенного, ничего, за что бы зацепиться, посмаковать приятное или ужаснуться, когда я был на волосок от гибели...

Ровная жизнь. И даже смерть родителей мне иногда представляется не бедой, а благом. Сейчас бы давились здесь, в этой двухкомнатке, отец бы с матерью раз в неделю ругались из-за какой-нибудь мелочи (а точнее, из-за утомления друг другом, собой, собственным бездельем), и я бы наверняка ввязывался в их грызню... Полно таких семеек...

Но родители умерли, почти не мучаясь (рак обоих сожрал за несколько месяцев), и оставили меня одного. Одного в этой квартире-кормилице. Я сам себе хозяин, что хочу, то и делаю, ни от кого не завишу, ни под кого не подстраиваюсь.

Только вот... Только невыносимо... Слабенькая бодрость, возникшая во время умывания, приготовления кофе, улетучивается, и я бессильно разваливаюсь в кресле, как переваренная рулька.

Нет, не надо! Вскакиваю, встряхиваюсь, хватаю сигарету, зажигалку. С пепельницей в руке хожу по комнатам, заворачиваю на кухню, оглядываюсь, будто ищу что-то важное. Сам не знаю что, но важное, способное помочь и спасти.

Остановился перед книжными полками... Я по несколько раз утром и вечером перед ними останавливаюсь. Внимательно смотрю на корешки... На самом деле все читано-перечитано. Джек Лондон, Купер, Пиккуль, Лермонтов, Скотт, трехтомник Александра Грина... Романтика, необыкновенные приключения, страсти и путешествия, сбывшиеся надежды... От воспоминаний о том, как жадно я поглощал все

это, становится еще хуже, и я отбегаю обратно к телевизору...

Покупать другие книги или брать в библиотеке не хочется, точнее, страшновато — неизвестно, что там найдешь, под обложкой. Да и что нужно искать в моем положении? В моем непонятном положении...

Иногда я прошу дать что-нибудь почитать Наташу, но не потому, что жажду именно читать, а чтобы поддерживать отношения с ней. Брать и отдавать книги — хороший повод встречаться, разговаривать, рассчитывать на нечто большее... Хотя с этого большего у нас отношения и начались — секс в первый же вечер знакомства, — а потом пошли по нисходящей. Или, наоборот, теперь они настоящие, а тот секс был приступом животности и отчаяния. Не знаю... Не знаю, не хочу анализировать, просто раза два-три в неделю прихожу в музей, где Наташа работает, и отдаю ей очередную книгу, беру другую.

Она пичкает меня Серебряным веком. В основном, конечно, стихами. Позавчера, например, дала толстенький том Марины Цветаевой. Я полистал, наткнулся на строки (уголок страницы с ними был загнут):

Захлебываясь от тоски,
Иду одна, без всякой мысли,
И опустились и повисли
Две тоненьких моих руки, —

и захлопнул. Дальше читать желания не возникает. Распалать в себе эту мерзкую тоску, тем более при помощи стихов, — последнее дело. А она ведь там повсюду, тоска, в Серебряном веке. Везде про умира-

ние, распад, тревогу какую-то неосознанную... Мы с Наташей несколько раз спорили, — ей, наоборот, такие стихи уверенность в будущем почему-то дают, — следующий спор может закончиться ссорой. Ссориться не хочу, боюсь. И так не с кем общаться... А до лета еще далеко.

Занимая голову подобными размышлениями, мучаясь и слегка как-то играя с этой мукой, я убиваю часа полтора. За окном светает, становится немного легче... Иду на кухню, чтоб приготовить завтрак. Точнее, найти, что там есть пожевать в холодильнике.

В кастрюле остатки сваренного дня два назад риса. Кусок вареной колбасы, кефир...

Ставлю на плиту сковородку, наливаю немного масла. Поджариваю колбасу, разогреваю рис. Посимпатичней выкладываю на тарелку, в рисе делаю углубление, лью туда кетчуп. Отрезаю кусок хлеба. Возвращаюсь в комнату.

По телевизору как раз региональные новости. Проблемы с отоплением, сложности на дорогах — гололед; а вот и наш город: какая-то пожилая рыхлая женщина плачет. Ей вручили бумагу, что нужно в течение десяти дней освободить комнату в рабочем общежитии. Комната аварийная. «И куда я?.. Куда я?» — задыхаясь, спрашивает она, потрясая листом... Потом журналистка берет интервью у пресс-секретаря администрации. «Никто на улице не останется!» — заверяет он.

Наверное, не останется. Но я начинаю представлять, что вот такая же бумажка приходит мне. Да я с ума сойду, соображая, как упаковать вещи, что вообще делать. Хотя... Я знаю ту общагу недалеко